

Л. И. ВОЛЬПЕРТ

## «АДОЛЬФ» БЕНЖАМЕНА КОНСТАНА В ПЕРЕВОДАХ П. А. ВЯЗЕМСКОГО и Н. А. ПОЛЕВОГО

В отделе смесь первого номера «Литературной газеты» за 1830 г. небольшая заметка без подписи извещала читателей о скором выходе в свет перевода романа Б. Константа «Адольф», выполненного П. А. Вяземским. «С нетерпением ожидаем появления сей книги <...> Перевод будет истинным созданием и важным событием истории нашей литературы»<sup>1</sup>, — писал анонимный автор. С января 1831 г. в «Московском телеграфе» действительно начал печататься перевод «Адольфа», но принадлежал он перу не Вяземского, а Н. А. Полевого. «Мой «Адольф» пропал без вести, а между тем Полевой, всегда готовый на какую-нибудь пакость, печатает своего «Адольфа» в Телеграфе. Была ли моя рукопись в цензуре?» — спрашивал Вяземский Плетнева в письме от 12/1 1831 г. и просил его: «Поверьте с моим переводом перевод Телеграфа. Помилуй боже и спаси нас если будет сходство. Я рад все переменить, хоть испортить — только не сходиться с ним»<sup>2</sup>. Забегая вперед, скажем сразу: он тревожился напрасно, сходство переводов ему не угрожало. В сентябре 1831 г. вышел в свет и его перевод.

Почти одновременное появление двух переводов «Адольфа», выполненных с явной полемической идеей в острый момент борьбы за реалистическую прозу, придали этому событию особую значимость. Этот небольшой драматический эпизод истории русского перевода отразил многие веяния времени, собрал как в фокусе тенденции литературной борьбы эпохи.

Автором анонимной заметки «Литературной газеты», как установил в 1910 г. Н. О. Лернер, был А. С. Пушкин. Несколь-

<sup>1</sup> А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в десяти томах, изд. 3-е, изд. АН СССР, т. 7, 1964, стр. 97. Далее ссылки даются на это издание.

<sup>2</sup> «Известия Отд. русского яз. и слов. Ак. Наук», 1897, т. 11, кн. 1, стр. 92.

ко строк заметки решительно вводили перевод «Адольфа» в русло национальной борьбы за создание русской прозы: «Любопытно видеть, каким образом опытное и живое перо князя П. А. Вяземского победило трудность метафизического языка, всегда стройного, светского, часто вдохновенного»<sup>3</sup>.

Понятие «метафизический язык» было, по-видимому, заимствовано Пушкиным у Жермены Сталь<sup>4</sup>. С его легкой руки оно вошло в моду в 20-е гг. в России (им пестрят письма, заметки Вяземского, Баратынского и др.) и с ним связывалась тогда целая система взглядов и требований, предъявляемых прозе. Выдвигая задачу создания «метафизического языка», способного выражать отвлеченные понятия, Пушкин имел в виду язык русской философской и научной прозы.

Однако к концу 20-х гг. понятие «метафизический язык» расширяется, оно начинает применяться также по отношению к художественной прозе, означая, как пишет А. А. Ахматова, язык, раскрывающий душевную жизнь человека<sup>5</sup>. Такой язык предстояло создать.

С этой точки зрения перевод психологического романа Констанана, написанного «стройным, метафизическим «языком», мог стать определенным стимулом в формировании русской прозы. Благородное соревнование с гораздо более развитой французской прозой, покоящейся на богатейшей традиции, стремление создать достойный русский эквивалент французского шедевра, могло явиться своеобразной школой для русских переводчиков, некоторой проверкой гибкости русского языка, богатства его стилистических возможностей. Именно эту задачу ставил Пушкин в своей заметке о переводе «Адольфа» Вяземским, об этом же писал Вяземскому и Баратынский: «Чувствую, как трудно переводить светского «Адольфа» на язык, которым не говорят в свете, но надобно вспомнить, что им будут когда-нибудь говорить и что выражения, которые нам теперь кажутся изысканными, рано или поздно будут обыкновенными»<sup>6</sup>.

Некоторое отставание прозаического перевода от поэтического в России 20-х гг. являлось отражением более широких процессов русской литературы. Прозаический перевод занимал большое место в культурной жизни России уже с середины 18-го века, но его качество было весьма невысоко. Если перевод поэтического текста почитался делом почетным и трудным, то за прозаический перевод считал себя в праве взяться каждый, и русский книжный рынок был наводнен переводной

<sup>3</sup> А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в десяти томах, т. 7, 1964, стр. 97.

<sup>4</sup> См.: А. А. Ахматова, «Адольф» Бенжамена Констанана в творчестве Пушкина. Пушкин, Временник, АН СССР, М.—Л., 1936, стр. 98.

<sup>5</sup> Там же.

<sup>6</sup> «Старина и новизна», кн. 5, стр. 50.

макулатурой. «Судя по сочинениям, над которыми страсть сия к переводам учинила ужаснейшие опустошения, можно думать, что корыстолюбие, бесплодное воображение и испорченный вкус составляют ее главные основания»<sup>7</sup>, — писал в 1809 г. большой знаток европейской литературы князь Б. Голицын. За истекшие с того времени два десятилетия появилось, естественно, немало хороших переводов (и в первую очередь Карамзина), но и очень много дурных, часто так называемых «переделок», где очень мало оставалось от оригинала.

Одной из таких «переделок», учинивших «ужаснейшие опустошения» был первый перевод «Адольфа», изданный в Орле в 1818 г. под названием «Адольф и Элеонора или Опасность любовных связей. Истинное происшествие». Переводчик, предусмотрительно не указавший своего имени, сохранив сюжетную канву, решительно изгнал из своего перевода все, что отличалось психологической сложностью, т. е. самую душу романа Констана<sup>8</sup>. Естественно, что такой перевод мог вызвать у почитателей «Адольфа» только сильное раздражение и стремление восстановить честь Констана.

В соревнование вступили Полевой и Вяземский. После опубликования обоих переводов возникла журнальная полемика. «Телескоп» (1831, № 17), дав высокую оценку переводу Вяземского, резко отрицательно высказался о переводе Полевого: «Мы особенно благодарны ему (Вяземскому — Л. В.) за то, что прекрасный перевод его искупил вполне оскорбление, нанесенное произведению Б. Констана недавней пародией «Московского телеграфа»<sup>9</sup>. Автор заметки в «Дамском журнале» похвалил перевод Вяземского и обошел молчанием перевод Полевого. «Московский телеграф» (1831, № 20) ответил язвительной, не лишенной остроумия и справедливых упреков, но в целом крайне необъективной рецензией самого Полевого, который давал резкую оценку переводу Вяземского («Нет! Перевод кн. Вяземского не хорош: тяжел, неверен, писан дурным слогом») <sup>10</sup> и без ложной скромности писал: «Даже перевод «Адольфа», помещенный в Телеграфе, ближе к подлиннику нежели перевод кн. Вяземского...» <sup>11</sup>.

Не только в рецензии Полевого, но и в выше приведенных оценках переводов журналами заметна явная тенденциоз-

<sup>7</sup> Нравственные рассуждения герцога де ла Рошфуко, СПб, 1809, стр. VIII.

<sup>8</sup> Например, мысль Констана, которая не показалась интересной переводчику и потому была опущена «...tout en ne m'intéressant qu'à moi, je m'intéressais faiblement a moi-même». (Занимаясь только самим собой, я все же собой занимался довольно мало). Б. Констан, Адольф, ГИХЛ, М., 1959, стр. 16.

<sup>9</sup> «Телескоп», 1831, № 17, стр. 104.

<sup>10</sup> «Московский телеграф», № 20, октябрь, стр. 544.

<sup>11</sup> Там же, стр. 539.

ность, (например, в оценке «Телескопа» чувствуется отношение Надеждина к Полевому и «Московскому телеграфу», а для «Дамского журнала» Вяземский — почетный сотрудник), сказывались литературные страсти эпохи. У Вяземского тоже чесались руки от желания драться, и он спрашивал у Пушкина в письме от 17/1 1831 г. «Надобно ли в замечании задрать киселем в... Адольфа Полевого, или пропустить его без внимания, сомте ипе chose поп аветие»<sup>12</sup> (как если бы ничего не случилось — Л. В.) и выбрал последнее. Вяземский посвятил свой перевод Пушкину и отдавал свою работу на его суд («...в борьбе иногда довольно трудной мысленно вопрошал я тебя как другую совесть»<sup>13</sup>, — писал он в посвящении). Но Пушкин ни звуком не отозвался о переводе после его выхода в свет. Составить объективное представление о ценности переводов, опираясь лишь на свидетельства современников — вряд ли возможно.

В научной литературе укрепилось мнение, что перевод Вяземского — большая удача, а Полевого — лишь «переложение», как назвал его мимоходом автор монографии, посвященной П. А. Вяземскому, австрийский славист Гюнтер Витженс<sup>14</sup>. Современный исследователь Е. Н. Феоктистова, касаясь лингвистических проблем перевода «Адольфа» Вяземским, утверждает: «Перевод Полевого не может идти в сравнение с переводом Вяземского»<sup>15</sup>. О. Холмская характеризует перевод Полевого, как «грамотный и что называется бойкий»<sup>16</sup> и утверждает, что в литературном отношении он заметно уступает переводу Вяземского. Однако до сих пор не делалось попытки обстоятельного изучения обоих переводов, их сопоставительного анализа.

Известно, что для уяснения творческой идеи перевода (речь идет о переводе, сделанном писателем), правильной его оценки, понимания причин того или иного неизбежного сдвига, допущенного переводчиком в передаче оригинала, нужно учитывать его общественную и литературную позицию, широту его образованности, особенности его собственного стиля, как прозаика, его взгляды на задачи перевода и мн. др.

---

<sup>12</sup> А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 16 т., изд. АН СССР, т. 14, 1941, стр. 146.

<sup>13</sup> П. А. Вяземский. Собрание сочинений в 10 т., СПб, 1886, т. 10, стр. 111.

<sup>14</sup> Gonthor Wytrzens, Piotor Andreevit Vjazemskij, Wien, 1961, s. 127. Говоря о переводе Вяземского, Витженс употребляет только слово «die Ibersetzung», тогда как по отношению к «Адольфу» Полевого исследователя использует всегда «die Iibertragung».

<sup>15</sup> Е. Н. Феоктистова. «Адольф» Бенжамена Констан в переводе П. А. Вяземского, сборник работ аспирантов. Кафедра филологических наук. Львов, 1960, стр. 112.

<sup>16</sup> О. Холмская. Пушкин и переводческие дискуссии пушкинской поры, «Мастерство перевода», изд. «Советский писатель», М., 1959, стр. 360.

Вяземский прозаические переводы (если не считать переведенные им прозой в 1828 г. «Крымские сонеты» Мицкевича) до «Адольфа» не публиковал. Но еще в 1822 г., в Остафьево, Вяземский с увлечением, «для себя», переводил прозу французских просветителей XVIII в. (Рейналь, Дидро, Руссо, Фенелон и др.). В основном это были отрывки гражданской прозы, передовой общественной мысли, а не художественная проза<sup>17</sup>. «Я сию теперь на прозаических переводах с французского, — писал он А. И. Тургеневу 18/XI 1822 г. — Во-первых, есть тут и для себя занятие полезное»<sup>18</sup>.

Полевой к началу 30-х гг. — опытный профессиональный переводчик, помещающий в каждом номере своего журнала какой-либо переводной прозаический отрывок. (Он переводил Гофмана, Ирвинга, Клаурена, Г. Смита и мн. др.).

Вяземский — крупный теоретик перевода. Его взгляды составили некий этап в развитии русской переводческой мысли. Продолжая традиции Карамзина в усвоении чужих языковых форм, он, однако, выдвинул два принципа, решительно противостоящих карамзинской линии: требование точности в передаче подлинника и сохранение национального духа оригинала. Оба принципа в эпоху весьма свободного обращения с подлинником были прогрессивны. Но, требуя строгого следования оригиналу, Вяземский, в пылу борьбы, впадает в другую крайность — буквализм. «Есть два способа переводить, — пишет он, — один независимый, другой подчиненный. Следуя первому, переводчик, напитавшись смыслом и духом подлинника, переливает их в свои формы, следуя другому, он старается сохранить и самые формы <...> первый способ превосходнее, второй невыгоднее, из двух я избрал последний»<sup>19</sup>. Блестяще, совсем в духе сегодняшнего дня, определив смысл «независимого» перевода Вяземский парадоксальным образом отдает предпочтение переводу «подчиненному». В этом взгляде сказались и споры о переводе, и личное отношение Вяземского к «Адольфу» и слабое развитие русского «метафизического языка». Как справедливо отмечает Ю. Д. Левин, буквализм свойственен кризисным эпохам в переводческой практике, когда стилистические ресурсы родного языка перестают удовлетворять и переводчик ищет выход в максимальном формальном сближении перевода с оригиналом<sup>20</sup>.

Полевой, в отличие от Вяземского, не оставил заметного

---

<sup>17</sup> См.: В. Стефанович. Французские просветители XVIII в. в переводах П. А. Вяземского. «Русская литература», изд. «Наука», Л., 1966. стр. 82—92.

<sup>18</sup> Остафьевский архив, т. II, стр. 280.

<sup>19</sup> П. А. Вяземский. Собрание сочинений в 10 томах, СПб., т. 10, 1886, стр. XI.

<sup>20</sup> Ю. Д. Левин. Об исторической эволюции принципов перевода. Сб. «Международные связи русской литературы», изд. АН СССР, М.—Л., 1963, стр. 30.

следа в теории перевода. Но он придавал огромное значение переводческому труду в России, всячески популяризировал его, «Московский телеграф» откликался на каждую новинку в этой области дельными, тонкими, в целом благожелательными, но и весьма требовательными анализами, принадлежащими перу Полевого. Он также сторонник точного перевода, но ему чужда идея «подчиненного», формального перевода, в чем он современнее Вяземского. Однако, он не сторонник прогрессивного требования сохранения национальной специфики оригинала, выдвигаемого Вяземским.

И Полевой и Вяземский — писатели-романтики, но этот факт отнюдь не означает единства их литературной позиции. Еще Ю. Н. Тынянов в исследовании «Архаисты и Пушкин» писал о полной условности понятия русского романтизма, прилагавшегося к самым разнородным явлениям<sup>21</sup>. Карамзинист Вяземский больше романтик в теории, чем в художественной практике. В романтизме его привлекал политический либерализм, выдвинутый французской и английской прогрессивными романтическими школами, и интерес к внутренней жизни человека; Полевого, страстного поклонника Гюго — столкновение сильных характеров, контрасты, бурные страсти.

И, наконец, последнее что надо иметь в виду, приступая к анализу переводов — особенности слога Вяземского и Полевого.

Для прозы Вяземского (эпистолярной, мемуарной, полемической, критической) характерен слог смелый, яркий, свободный. «Образы у Вяземского <...> всегда иллюстрация мысли, характер их интеллектуален, а не эмоционален, за ними чувствуется вековая культура французского умения рассуждать»<sup>22</sup>. При этом его слог отличался иногда и вызывающей оригинальностью. Сказывались некоторая архаичность его эстетических воззрений (пристрастие к культуре XVIII в.) и стремление обогатить русский язык за счет языков европейских. Как пишет Л. А. Булаховский, многие (Карамзин, А. И. Тургенев, Блудов, Жуковский) с неодобрением наблюдали за новаторскими поисками Вяземского, опасаясь за чистоту русского языка. Иной была позиция Пушкина, одобрительно высказывавшегося о слоге Вяземского. «Образ его мыслей и их выражения резко оригинальны: он мыслит, сердит, и заставляет мыслить и смеяться»<sup>23</sup>, «Проза князя Вяземского чрезвычайно жива. Он обладает редкой способностью оригинально выражать мысли»<sup>24</sup>. «Критические статьи кн. Вязем-

<sup>21</sup> Ю. Н. Тынянов. Пушкин и его современники. Изд. «Наука», М., 1968, стр. 23—24.

<sup>22</sup> Л. А. Булаховский. Русский литературный язык первой половины XIX века. Киев, 1967, стр. 181.

<sup>23</sup> А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах, т. 10, стр. 235.

<sup>24</sup> Там же, т. 7, стр. 66.

ского носят на себе отпечаток ума тонкого, наблюдательного и оригинального...»<sup>25</sup>. В трех высказываниях Пушкиным подчеркнуты, как главные качества, оригинальность выражений и насыщенность мыслью.

Слог критических статей Полевого — живой, несколько цветистый, но без назойливости, избилующий тропами яркими, но не безвкусными. «Это обыкновенно живая, без особенной развязности или крикливости манера с большим пристрастием к перифразам и фигурам, к риторическим интонациям, к оживляющей «литературности»<sup>26</sup>. Все эти качества свойственны и стилевой манере Полевого-художника. Причем, если для его романтических повестей («Живописец», «Аббадонна») характерны некоторая натянутость и сентиментальность, примат чувства над мыслью, то стиль «Рассказов русского солдата», в которых Полевой мастерски воссоздает образ мысли, психологию и живую речь простого крестьянина, этих недостатков лишен.

В те годы, когда «Московский телеграф» смелой критикой авторитетов вызвал яростные нападки на Полевого, когда, по словам Белинского, «раздались ожесточенные вопли: да что он, да кто он, где он учился, где его аттестаты, какие его ученые звания? он торгаш, купец, самоучка, всезнайка»<sup>27</sup>, было пущено в ход утверждение о якобы «подъяческо-купеческой» манере Полевого. Однако, несмотря на некоторые элементы разночинства в его языке (выражения, не принятые в дворянском кругу, метафорически употребленные профессионализмы и пр.), Полевой придерживался языка образованного дворянского общества. Таким было и его собственное требование: «Автор обязан выражаться языком хорошего общества»<sup>28</sup>, — писал он.

Обычно, при первом знакомстве с переводом удачи переводчика замечаются слабо, они воспринимаются как норма, зато неудачи и ошибки бросаются в глаза. Таких неудач в обоих изучаемых переводах довольно много. Вяземского с первой минуты хочется упрекнуть за некоторую вычурность, сложность, злоупотребление галлицизмами, архаизмами, Полевого — за снижение стиля, аффектацию, неизящество фразы. Можно привести изрядное число примеров неудач обоих переводчиков, что, однако, мало поможет выяснению принципиальной ценности переводов, их способности передать самый дух романа Константа.

Место «Адольфа» в мировой литературе определено свое-

<sup>25</sup> Там же, стр. 127.

<sup>26</sup> Л. А. Булаховский. Русский литературный язык первой половины XIX в., Киев, 1967, стр. 181.

<sup>27</sup> В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений в тринадцати томах. Изд. АН СССР, т. 9, стр. 688.

<sup>28</sup> «Московский телеграф», 1829, № 15, стр. 154.

образом его аналитического психологизма. Сложная, противоречивая, неоднозначная психика анализируется не в романтической системе туманных формул, ассоциаций, намеков, а облечена в кристально-ясную, обнаженно рационалистическую форму. Для Константа, наследника рационалистической традиции XVII—XVIII вв., нет вопроса о невыразимости ощущений, иррациональное выражено предельно рационально — в этом обаяние романа. Интеллектуальная проза Константа афористична, весь роман — как бы развернутый афоризм, в ткань романа органически вплетены десятки сентенций в духе Ларошфуко. Перевод афоризма, лаконичного, изящного, подчиненного строгому внутреннему ритму, в котором сгущенная мысль отлита в отточенную форму — вообще сложнейшее испытание для переводчика, а в период слабого развития прозы — трудно преодолимое. Не случайно все переводы максимов Ларошфуко конца XVIII — начала XIX в. были мало успешны<sup>29</sup>. Однако афоризм — высшая форма метафизической мысли, в романе Константа отвлеченные рассуждения выступают и в форме размышлений, воспоминаний, прямой речи, событийного повествования.

Каждый из вариантов русского «Адольфа» по-своему интерпретировал своеобразие психологизма «Адольфа» французского, каждый из двух переводчиков «по-своему» прочел роман и на свой манер воплотил метафизическую мысль Константа. Огромное значение приобрели при этом проблемы языка, выработка лексических и синтаксических средств психологической прозы, стилистических приемов самопознания. Многое в этом плане было уже сделано Карамзиным, но в центре внимания карамзинской психологической традиции было сознание однозначное, непротиворечивое. Русская литература еще не встречалась с рефлектирующим героем, подобным Адольфу, русский язык — с задачей воплощения метафизического языка такой сложности.

Рассмотрим пример перевода периода, выражающего столь характерный для Константа процесс самопознания героя, вечного столкновения подсознательного с сознанием.

«Je parvins à me contraindre; je renfermai dans mon sein

---

<sup>29</sup> Первый русский перевод «Нравоучительные мысли герцога де ла Рошфуко», М., 1798, перевод Е... Т... (Елизаветы Татищевой) был очень не полон (из соображений нравственности молодая дама-переводчица опустила афоризмы о любви) и не совершенен. (Напр.: «Мы обещаем обыкновенно другому, надеясь чего-нибудь, а исполняем свои обещания, опасаясь чего-нибудь» стр. 38). Второй перевод, изданный в типографии Новикова в «Духе изящнейших мнений» отдельных афоризмов, анонимный, был не лучше. Самый удачный перевод Дмитрия Пименова «Нравственные рассуждения герцога де ла Рошфуко» М., 1809 выгодно отличался от всех предыдущих. Однако и в этом переводе мысль часто затемнена, а форма неизлизна (Напр.: «Сумасшедшие и глупцы не иначе видят, как посредством расположения своего духа» стр. 143).



jusqu' aux moindres signes de mécontentement, et toutes les ressources de mon esprit furent employées á me créer une gaieté factice qui pût voiler ma profonde tristesse. Ce travail eut sur moi-même un effet inespéré. Nous sommes des créatures tellement mobiles, que les sentiments que nous feignons, nous finissons par les éprouver»<sup>30</sup>.

Вяземский: «Я успел приневолить себя и заключил в груди своей малейшие признаки неудовольствия, и все способы ума моего стремились созидать себе искусственную веселость, которая могла бы прикрывать мою глубокую горесть. Сия работа имела надо мною действие неожиданное. Мы существа столь зыбкие, что под конец ощущаем те самые чувства, которые сначала выказывали из притворства»<sup>31</sup>.

Полевой: «Мне удалось принудить себя. Затаивши в душе своей малейшие признаки неудовольствия, все силы ума употребил я на то, чтобы скрыть свою глубокую грусть под покровом искусственной веселости. Это усилие приобрело надо мною неожиданное действие. Люди, столь превратные создания, что начав показывать какое-нибудь ощущение, они, наконец, в самом деле испытывают его»<sup>32</sup>.

Перевод Вяземским метафизической мысли Констанана в целом довольно точен. Однако, как известно, при переводе важна не только смысловая точность, но и стилистическое, экспрессивно-эмоциональное соответствие оригиналу. Вяземский прежде всего стремится передать типичное для классицистической прозы благородство стиля «Адольфа». Этой задаче служат отбор лексики (архаизм «сия»<sup>33</sup>, «приневолить себя», «горесть») и синтаксические средства («действие неожиданное»). Удачен перевод заключающего периода афоризма. Вяземский сам мастер изящных, сжатых сентенций, отлично владеет искусством афоризма, понимает его структуру, закон внутреннего ритма. Здесь находка — перевод узлового эпитета («mobiles») определением «зыбкие», точным, выразительным, тончайшего оттенка.

Все же в переводе Вяземского заметен и некоторый «сдвиг» интонации Констанана. Бросается в глаза нарочитая усложнен-

---

<sup>30</sup> Benjamin Constant, Adolphe, Paris, 1959, p. 89. В дальнейшем ссылки на это издание — в тексте статьи с указанием страницы (С., р. 89).

<sup>31</sup> П. А. Вяземский. Адольф. Полное собрание сочинений в 10 томах, СПб., т. 10, стр. 79. Далее ссылки на это издание даются в тексте (В. стр. 79).

<sup>32</sup> «Московский телеграф», 1931, часть 37, февраль № 3, стр. 337. Далее ссылки на это издание даются в тексте (П. стр. 337).

<sup>33</sup> Местоимение «сия», вокруг которого в начале 30-х годов разворачиваются подлинные сражения в России, воспринимается в это время не только как знак архаичности, но и просто литературности. О соотношении русских и французских архаизмов см. Е. Эткинд. Перевод и сопоставительная стилистика «Мастерство перевода», изд. «Советский писатель», М., 1959, стр. 71—87.

ность, утяжеленность речи, свойственные скорее языку науки («все способы ума моего стремились созидать себе»). Галлицизм «все способы ума», лексика высокой научной речи («созидать себе») оставляют ощущение некоторой вычурности, наукообразности, что глубоко чуждо светски-непринужденной, разговорной интонации Констанана. В синтаксисе Вяземский следует за Констананом, сохраняя двучленную конструкцию («Я успел приневолить себя») и место прилагательного после существительного («действие неожиданное»). Последнее, правда, в это время уже не воспринималось как синтаксический галлицизм; узаконенное Карамзиным, оно стало нормой русской благородной речи («Повести Белкина»).

Иной характер носит перевод Полевого. В нем тоже мысль Констанана интерпретирована довольно точно. Трудный для перевода перифраз («*toutes les ressources de mon esprit furent employées*»), переданный Вяземским столь сложно, Полевой переводит очень складно, очень по-русски («все силы ума употребил я на то...»), слово «*travail*» он перевел «усилие», что точнее предложенного Вяземским первого словарного значения «работа». Стремясь приблизить язык размышления к языку разговорной речи, Полевой, по сравнению с переводом Вяземского, снижает лексику (нейтральное «грусть» вместо «горесть», «эта» вместо «сия») и упрощает синтаксис («неожиданное действие»). В синтаксисе Полевой чувствует себя вообще свободнее Вяземского, охотно заменяет двучленную конструкцию столь характерным для русского языка безличным оборотом.

Но перевод афоризма Полевому удался меньше. Эпитет «*mobiles*» он перевел «превратные» (в смысле «изменчивые», возможно, с оттенком «испорченные»), по выразительности и точности заметно уступающему переводу Вяземского «зыбкие». Констанановское «*pous*» («мы»), повторяющее знаменитое «*pous*» афоризмов Ларошфуко, Полевой перевел менее выразительным «люди». В его переводе утрачен внутренний ритм, афоризм несколько расплывчат.

Однако нельзя считать, что перевод афоризмов всегда и безусловно удаётся Вяземскому лучше, чем Полевому. Рассмотрим следующий пример: «*Les sots font de leur morale une masse compacte et indivisible pour qu'elle se mêle le moins possible avec leurs actions et les laisse libre dans tous les détails*» (С., р. 29). «Глупцы образуют из своей нравственности какой-то слой твердый и неразделимый с тем, чтобы она как можно меньше смешивалась с их деяниями и оставила бы их свободными во всех подробностях (В. стр. 5). «Глупцы превращают свою нравственность в какой-то твердый, неделимый состав, для того, чтобы она как можно менее мешалась в их поступки и не стесняла их подробностях». (П. стр. 58).

Сложность самой мысли и оригинальное сравнение делают

сентенцию весьма трудной для перевода. Интерпретация Вяземского не совсем удачна, утрачен внутренний ритм, стройность афоризма. Причина, на мой взгляд, в следовании принципу «подчиненного перевода», дословном повторении оригинала («с тем чтобы она как можно менее мешалась с их действиями», «оставила бы их свободными»), и неудачном отборе лексико-фразеологических средств («какой-то слой твердый и неразделимый»).

Перевод Полевого лаконичнее, проще и выполнен более по-русски («не стесняла их», «состав» удачнее, чем «слой»). Снижение лексики (нейтральное «поступки» вместо «деяния», «мешалась» вместо «смешивалась») точнее воплощает мысль Констанана. Рассмотрим еще один пример перевода аналитической мысли Констанана, отражающей тончайшие психологические наблюдения героя, его стремление осознать роль тайных мотивов, подавляемых чувств в поведении человека. «Je ne savais pas alors ce que c'était que la timidité, cette souffrance intérieure qui nous poursuit jusque dans l'âge le plus avancé, qui refoule sur notre coeur les impressions les plus profondes, qui glace nos paroles, qui dénature dans notre bouche tout ce que nous essayons de dire, et ne nous permet de nous exprimer que par des mots vagues ou une ironie plus ou moins amère, comme si nous voulions nous venger sur nos sentiments mêmes de la douleur que nous éprouvons à ne pouvoir les faire connaître». (С. р. 24). «Я тогда не знал, что такое застенчивость, сие внутреннее мучение, которое преследует нас до самых поздних лет, отбивает упорно на сердце нашем впечатления глубочайшие, охлаждает речи наши, искажает в устах наших все, что сказать покушаемся, и не дает нам выразиться иначе, как словами неопределительными, или насмешливостью более или менее горькою как будто на собственных чувствах своих мы хотим отомстить за досаду, что напрасно стараемся их обнаружить». (В. стр. 8).

«Тогда я не знал робости, этого душевного страдания, терзающего нас до самых преклонных лет. Да! Робость тяготит сердце, не позволяя нам выразить самых глубоких наших впечатлений; она леденит наши слова, обезображивает все, что хотим мы сказать, и дозволяет нам выражаться только словами неясными или смешанными с горькой несмешливостью: мы как будто хотим отомстить на наших чувствах за ту горесть, которую испытываем, не смея, не будучи в силах выразить их». (П. стр. 53). Оба переводчика довольно точно передают мысль Констанана, но их экспрессивно-эмоциональная трактовка текста весьма различна.

Вяземский верен своему стремлению передать сдержанно-благородную манеру Констанана. Высокая лексика («уста», «речи», «сие», «покушаемся»), прилагательное после существительного («впечатления глубочайшие», «словами неопреде-

лительными», «насмешливостью более или менее горькою»), создают интонацию высокой прозы. Однако перевод периода, в целом, усложнен, тяжел, нестроен. Галлицизм («отбивает упорно на сердце»), синтаксис, строго повторяющий оригинал («иначе, как словами неопределительными»), неудачный перевод инфинитивного оборота («отомстить за досаду, что...») — создают это впечатление тяжеловесности и усложненности.

Перевод Полевого — стройнее, современнее, проще. Отбор лексики удачнее («леденит» вместо «охлаждает», «неясными» вместо «неопределительными»), по сравнению с переводом Вяземского лексика несколько снижена («этого», а не «сия», «слова» а не «речи», «хотим мы сказать» вместо «что сказать покушаемся»). Его синтаксис гибче, он легко прибегает к инверсии, столь частой в русском языке («Тогда я не знал...»), прилагательное может поместить как перед существительным («горькою насмешливостью»), так и после существительного («словами неясными»). Однако Полевой вносит в свою интерпретацию долю повышенной взволнованности, некоторую аффектацию, чуждую суховаато-сдержанной манере Константа. Введение восклицательного междометия («Да! Робость тяготит сердце»), отбор слов, стилистически окрашенных, эмоционально насыщенных («терзающего», «леденит», «обезображивает»), введение усиления, градации, отсутствующей у Константа («не смея, не будучи в силах») — все эти приемы создают интонацию не холодного аналитического размышления, а «крика сердца».

Рассмотрим другой пример.

«Mes souvenirs reparurent, d'abord confus, bientôt plus vifs. Mon amour propre s'y mêlait. J'étais embarrassé, humilié, de rencontrer une femme qui m'avait traité comme un enfant».  
(С. р. 44).

«Мои воспоминания мне явились снова, сперва смутно, потом живее. Мое самолюбие к ним пристало: я был расстроен, унижен встречей с женщиной, поступившей со мной как с ребенком» (В. стр. 14).

«Воспоминания мои воскресали, сначала смутно, вскоре с полною жизнью. И тут было самолюбие! Мне казалось страшно и стыдно встретиться с женщиною, которая обошлась со мною как с ребенком» (П. стр. 72).

Мысль здесь, сама по себе менее метафизическая, чем в предыдущих примерах, более приближена к практическим отношениям.

Перевод Вяземского строго эквивалентен французскому тексту. Удачна передача французских определений, выраженных прилагательными («confus», «vifs») наречиями, что, впрочем, есть и у Полевого. Трудные для перевода французские эпитеты («embarrassé», «humilié») переведены точными, передающими тончайшие оттенки настроения, определениями

«расстроен», «уничужен. Для Вяземского передача оттенков, нюансов, полутонов в описании душевного состояния — важнейшая и первостепенная задача. В синтаксисе, как всегда, Вяземский послушно следует за оригиналом, сохраняя двучленную конструкцию. Несколько неуклюжий оборот («Мое самолюбие к ним пристало»), по-видимому, связан с стремлением Вяземского вводить в русский язык новые конструкции, которые могли бы стать нормой в дальнейшем.

Перевод Полевого — заметное смещение интонации Констанана, представляет типичную для переводчика, уже отмеченную выше интерпретацию. И здесь он вносит известную долю аффектации, взволнованности, чуждой сдержанно-благородной интонации Констанана. Спокойную констатацию («Mon amour pour elle s'y mêlait») Полевой переводит восклицательной конструкцией («И тут было самолюбие!»), прилагательное в сравнительной степени «plus vifs» насыщенно-эмоциональным «с полной жизнью». Создается впечатление, что оттенки и нюансы его интересуют мало, что он сознательно выбирает слова полного объема, так сказать, то же значение, но только в суперлативе. Так, французские эпитеты «embarrassé», «humilié» он переводит безоттеночными, полнообъемными «страшно» и «стыдно». Констанановское «qui m'avait traité comme un enfant» у Полевого — «которая обошлась со мной как с ребенком» — перевод удачный, очень русский, но с добавочным экспрессивным оттенком. Таким образом, мы видим, что Полевой огрубляет нюансы, усиливает эмоции, стремясь создать интонацию непосредственного переживания.

И, наконец, последние примеры, уже совсем не связанные с отвлеченными понятиями метафизического языка, а целиком обращенные к практической жизни:

«J'étais forcé de précipiter toutes mes démarches, de rompre avec la plupart de mes relations». (С. р. 62).

«Я был принужден торопить все мои поступки и разорвать почти все мои светские сношения» (В. стр. 25).

«Я был принужден спешить во всех своих действиях, и разорвать большую часть своих сношений» (П. стр. 215).

Вяземский воспринимает героя романа как человека глубоко светского. В его представлении вообще носителем утонченной психологии может быть только человек, принадлежащий к высшему кругу образованных людей. И в переводе он всегда подчеркивает аристократизм героя, даже тогда, когда речь идет о течении обыденной жизни. Здесь эта интонация создается галлицизмом («я был принужден торопить все мои поступки») и добавлением к слову «сношения» определения «светские», которого в тексте Констанана нет.

Полевому же все вовсе не важно, что герой аристократ, ему интересны большие страсти, и такие характеры он находит скорее среди людей простых. Он намеренно снижает героя,

включает его в обычную жизнь «неаристократов». Отсюда сугубо деловая лексика («действий» «*démarches*», «сношения» «*relations*»). Это стремление Полевого «снизить» язык аристократических героев приводит иногда к явной переводческой неудаче. Так, например, слова крупного дипломата, глубоко светского человека, друга отца Адольфа, желающего предупредить героя о широкой известности его интимных дел:

«*Les faits sont positifs, ils sont publics*». (С. р. 102)

Полевой переводит: «Дело явное, публичное». (П. стр. 349)<sup>34</sup>.

Использование сугубо деловой, нарочито сниженной лексики в данном случае весьма неуместно.

Перевод Вяземским этой фразы также мало удачен: «Действия положительные, они гласны» (В. стр. 50). Причина неудачи — стремление Вяземского экспериментировать, попытка ввести в русский язык новый смысл слова «положительны» в значении «установлены», «неоспоримы»<sup>35</sup>.

В трактовке «Адольфа» Вяземским сказалось отношение переводчика к Констану и его роману. Вяземский — горячий поклонник Констан-политика, вождя французской либеральной партии. «Мы были учениками и последователями преподавания, которое оглашалось с трибуны <...> такими учителями, каковы были Бенжамен Констан, Ройе Коллар...»<sup>36</sup>. «Адольф» для него, как и для многих его современников (Симонди, Стендаль, Сент-Бев) «роман века сего», подлинное открытие «сына века». «Трудно в таком тесном очерке <...> более выказать сердце человеческое, перевернуть его на все стороны, выворотить до дна и обнажить на-голо во всей жалости и во всем ужасе холодной истины...»<sup>37</sup>. В стиле романа Вяземский улавливал отзвук слога Констан-политика, ту же ясность и силу мысли, выраженной в сдержанной, суховатой манере. «Автор «Адольфа» силен, красноречив, язвителен, трогателен, не прибегая никогда <...> к цветам красноречия, <...> к слезам слога <...> вся сила, все могущество дарования его — в истине. Таков он в «Адольфе», таков на ораторской трибуне, <...> в литературной критике»<sup>38</sup>. Его восхищение

---

<sup>34</sup> Этот пример заимствован из статьи А. Андрес «Дистанция времени и перевод» («Мастерство перевода», Изд. «Советский писатель», М., 1965, стр. 120), посвященной новейшему блестящему переводу «Адольфа», выполненному А. С. Кулишер. На основании этого примера А. Андрес делает, на наш взгляд, не совсем обоснованный вывод о языке «Охотного ряда» Полевого.

<sup>35</sup> Неудачи обоих переводчиков особенно заметны на фоне перевода этой фразы А. С. Кулишер, сделанного в камертоне пушкинской прозы: «Факты непреложны. Они суть достояние всех» (Бенжамен Констан), «Адольф», ГИХЛ, М., 1959, стр. 91.

<sup>36</sup> П. А. Вяземский. Собрание сочинений в десяти томах, т. 10, стр. 292.

<sup>37</sup> Там же, стр. VI.

<sup>38</sup> Там же, стр. X.

стилем «Адольфа» безмерно: «О слоге автора <...> и говорить нечего: это верх искусства»<sup>39</sup>.

Констан очень близок Вяземскому, в романе он видит одно из проявлений личности Констана, узнает в герое знакомый облик, он стремится бережно и точно передать душевное состояние героя.

Естественно, что такое восторженное отношение к автору, его роману, к стилю оригинала не могло не сказаться на переводческой позиции Вяземского и, в частности, на злополучном принципе «подчиненного перевода». Это вполне сознавал и сам Вяземский: «Из мнений моих... легко вывести причину, почему я связал себя *подчиненным переводом* (курсив П. А. Вяземского — Л. В.). Отступления от выражений автора, часто от самой симметрии слов, казались мне противоестественным изменением мысли его»<sup>40</sup>. Надо отдать справедливость Вяземскому, на практике он гораздо свободнее по отношению к оригиналу, чем он это демонстрирует в теории.

Русский «Адольф» Вяземского — в значительной степени экспериментальный роман. Его экспериментаторская направленность была связана прежде всего с задачей создания русского метафизического языка. Работа эта мыслилась как создание новых оборотов, фразеологии, введение оттеночных эпитетов, понятий, способных выражать полутона, нюансы. «Должно было заимствовать обороты из языков уже созревших и прививать их рукою искусною к своему языку»<sup>41</sup>, — писал Вяземский в 1823 г.

Вяземский оказался той фигурой, на которую единодушно «возложили миссию» создания русского метафизического языка и Пушкин<sup>42</sup> и Баратынский<sup>43</sup> и М. Ф. Орлов<sup>44</sup>. И выбор был отнюдь не случаен. Именно Вяземский с его знанием языков, глубоко интеллектуальной прозой, оригинальностью слога, смелым новаторством, острым чувством неудовлетворенности русской прозой больше всего годился для такого эксперимента. Он отнесся к этой задаче чрезвычайно серьезно: «Имел я еще мою собственную цель, — пишет он в предисловии к «Адольфу», — изучивать, ощупывать язык наш, производить над ним попытки, если не пытки, и вывести, сколько

---

<sup>39</sup> Там же, стр. IX.

<sup>40</sup> Там же, стр.

<sup>41</sup> Цит. по О. Холмская, Пушкин и переводческие дискуссии пушкинской поры, «Мастерство перевода», Изд. «Советский писатель», 1959, стр. 359.

<sup>42</sup> «...образуй наш метафизический язык...», писал Пушкин Вяземскому в письме от 1/IX 1822 г. (т. 10, стр. 42).

<sup>43</sup> «Старина и новизна», кн. 5, стр. 50.

<sup>44</sup> М. Орлов писал в 1821 г. Вяземскому, что тот призван «сделать оборот в прозе нашей и дать ей более точности и остроты», «Литературное наследство», т. 60, кн. 1, 1956, стр. 33.

может он приблизиться к языку иностранному, разумеется, опять, без увечья, без распятыя на ложе Прокрустовом»<sup>45</sup>.

Экспериментаторская позиция Вяземского определила сильные и слабые стороны его интерпретации. Принцип «подчиненного перевода», стремление приблизить язык литературы к языку науки, построить литературный психологизм на основе научной терминологии — привели к некоторой тяжеловесности, иногда архаичности, иногда неоправданному новаторству, к появлению оборотов очень «не русских», что особенно ощущается в области синтаксиса, усложненного, полного галлицизмов, иногда раболопного.

Однако стремление к эксперименту определило и многие достижения Вяземского. Находки в лексике, воплощение тончайших оттенков переживаний, удачный перевод афористической мысли, благородство стиля — все это удачи перевода. Вяземский стремился создать образец не «смирненной прозы», относимой обычно в России к «низким жанрам», а модель высокой, благородной прозы; он прочел роман Констана, как почитатель Ларошфуко, Паскаля, французских моралистов-мыслителей. Его «Адольф» — светская повесть с углубленным психологическим анализом аристократических характеров, от которой тянутся нити к Одоевскому и Лермонтову.

Говоря о русском «Адольфе» Полевого, следует прежде всего подчеркнуть, что это полноценный, точный, вполне литературный перевод, а вовсе не переделка. В его переводческой манере также сказалось отношение к Констану и его роману. Для Вяземского светский Констан — «свой», для демократа Полевого «чужой», он относится к нему почитательно, но не восторженно, человеческий облик автора «Адольфа» для него не значим. Он не ощущает и огромное новаторство Констана, для него «Адольф» не «роман века сего», а одно из многих переводных произведений, постоянно печатавшихся в «Московском телеграфе» для развлечения и просвещения публики, «верный список с невымышленной сцены — не более»<sup>46</sup>. Не разделяет он восхищения Вяземского и стилем романа, который на его взгляд, хорош, но отнюдь — не совершенство. «Как бы то ни было, но никогда не нужно впадать в такое детское подобострастие, каким ознаменован перевод кн. Вяземского»<sup>47</sup>, — иронически замечает он.

Задача выработки «метафизического» языка представляется ему и нескромной и утопической: «Даже смешно в переводе небольшого романа, анекдота, видеть какой-то шаг к преобразованию, эпоху»<sup>48</sup>. На его взгляд, Вяземский несколько за-

<sup>45</sup> П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений в десяти томах, т. 10, 1880, стр. XI.

<sup>46</sup> «Московский телеграф», 1831, № 20, октябрь, стр. 535.

<sup>47</sup> Там же, стр. 537.

<sup>48</sup> Там же, стр. 538.



поздал со своим реформаторским пафосом. Если учитывать, что к 30-м годам XIX в. русский литературный язык уже фактически сложился, в нем самом были заложены все качества будущего усовершенствования, то нельзя отказать Полевому в рациональном подходе. Путь развития мог стать в значительной степени отысканием того, что было в самом языке, скрытых его ресурсов, и усовершенствованием достигнутого, чему лучшее доказательство — пушкинская проза. Полевой с его непосредственным чутьем языка, хорошим «языковым ухом», чутко улавливает эту тенденцию. В своем переводе он ориентируется на осовременивание языка. Не связанный теоретическими установками, трепетной бережностью по отношению к оригиналу, Полевой чувствует себя в переводе гораздо свободнее Вяземского, его синтаксис разнообразнее и гибче, лексика лишена архаичности, его язык современнее, ближе к нашему. (Но не следует забывать, что образованный, светский современник Полевого мог воспринимать как некоторое снижение стиля то, что нам представляется нормой).

Однако и в интерпретации Полевого «Адольф» Констана претерпел известный сдвиг. Полевой прочел «Адольфа», как романтик, почитатель Гюго. Для него это роман «слишком холодный»<sup>49</sup>, он вносит в перевод долю взволнованности, аффекта, чуждую сдержанной манере Констана, передает не «метафизику сердца», а «крик сердца» и создает романтическую повесть. Если Вяземский стилистически чуть-чуть усложняет Констана, воплощает его текст, так сказать, на полрегистра выше, то Полевой чуть-чуть упрощает, передает на полрегистра ниже. Демократическая языковая ориентация Полевого (в целом весьма прогрессивная, имеющая целью приобщить широкие слои читательской публики к ценностям культуры) мешала, подчас, передать благородство стиля «Адольфа».

Каждый из двух переводчиков считал свой путь единственным возможным и был в чем-то прав и в чем-то не прав.

Пушкинская проза, которая вобрала в себя, переплавив и превратила в новое качество все лучшее из психологической прозы Карамзина, светской повести, народно-демократической традиции, впитала и лучшее из достижений Вяземского и Полевого и явилась органическим завершением всех этих исканий.

---

<sup>49</sup> Там же, стр. 536.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  
им. А. И. ГЕРЦЕНА

---

Ученые записки, т. № 434

ПУШКИН  
И  
ЕГО СОВРЕМЕННОКИ

ПСКОВ · 1970